

Происшествие — эпизод 1 из 2

Как случилось, что я, почти два года ни о чем не думавшая, начала думать, — не могу понять. Не мог же, в самом деле, натолкнуть меня на эти думы тот господин. Потому что эти господа так часто встречаются, что я уже привыкла к их проповедям.

Да, почти всякий из них, кроме совершенно привыкших или очень умных, непременно заговаривает об этих не нужных ни ему, ни даже мне вещах. Сперва спросит, как меня зовут, сколько мне лет, потом, большей частью с довольно печальным видом, начнет говорить о том, что «нельзя ли как-нибудь уйти от подобной жизни?» Сначала меня мучили такие расспросы, но теперь я привыкла. Ко многому привыкаешь.

Но вот уже две недели всякий раз, когда я невесела, то есть не пьяна (потому что разве есть для меня возможность веселиться, не будучи пьяной?), и когда я остаюсь совсем одна, я начинаю думать. И не хотела бы, да не могу: не отвязываются эти тяжелые думы; одно средство забыть — уйти куда-нибудь, где много народа, где пьянствуют, безобразничают. Я начинаю также пить и безобразничать, мысли путаются, ничего не помнишь... Тогда — легче. Отчего прежде этого не бывало, с самого того дня, как я махнула рукой на все? Больше двух лет я живу здесь, в этой скверной комнате, все время провожу одинаково, также бываю в разных Эльдорадо и Пале-де-Кристалль, и все время если и не было весело, так хоть не думалось о том, что невесело; а теперь вот — совсем, совсем другое.

Как это скучно и глупо! Ведь все равно не выберусь никуда, не выберусь просто потому, что сама не захочу. В жизнь эту я втянулась, путь свой знаю. Вон и в «Стрекозе» (которую приносит мне один знакомый довольно часто и уж непременно, когда в ней появляется что-нибудь «пикантное»), и в «Стрекозе» я видела рисунок: посередине маленькая хорошенькая девочка с куклой, а около нее два ряда фигур. Вверх от девочки идут: маленькая гимназистка или пансионерка, потом скромная молодая девушка, мать семейства и, наконец, старушка, почтенная такая, а в другую сторону, вниз — девочка с коробком из магазина, потом я, я и еще я. Первая я — вот как теперь; вторая — улицу метлой метет, а третья — та уж совсем отвратительная, гнусная старуха. Но только уж я не допущу себя до этого. Еще два-три года, если вынесу такую жизнь, а потом в Екатериновку. На это меня хватит, не испугаюсь.

Какой странный, однако, этот художник! Почему так-таки непременно, если пансионерка или гимназистка, так уже и скромная девица, почтенная мать и бабушка? А я-то? Слава богу, ведь и я могу блеснуть где-нибудь на Невском французским или немецким языком! И рисовать цветы, я думаю, еще не забыла, и «Calipso ne pouvait se consoler du depart d'Ulysse» помню. И Пушкина помню, и Лермонтова, и все, все: и экзамены, и то роковое, ужасное время, когда я осталась душой, набитой душой, одна у добрых родных, уверявших, что они «приютили сироту», и пылкие пошлые речи того фата, и как я сдуру обрадовалась, и всю ложь и грязь там, в «чистом обществе», откуда я попала сюда, где теперь одурманиваюсь водкой... Да, теперь я стала пить даже и водку. «Horreur!» — закричала бы кузина Ольга Николаевна.

Да и в самом деле, разве не horreur? Но виновата ли я сама в этом деле? Если бы мне, семнадцатилетней девчонке, с восьми лет сидевшей в четырех стенах и видевшей только таких же девочек, как и я сама, да еще разных маманов, попался не такой, как тот, с прическою a la Capoule, любезный мой друг, а другой, хороший человек, — то, пожалуй, тогда было бы и не то...

Глупая мысль! Разве есть они, хорошие люди, разве я их видела и после и до моей катастрофы? Должна ли я думать, что есть хорошие люди, когда из десятков, которых я знаю, нет ни одного, которого я могла бы не ненавидеть? И могу ли я верить, что они есть, когда тут и мужья от молодых жен, и дети (почти дети — четырнадцати — пятнадцати лет) из «хороших семейств», и старики, лысые, параличные, отжившие?

И, наконец, могу ли я не ненавидеть, не презирать, хотя я сама презираемое и презренное существо, когда я вижу среди них таких людей, как некоторый молодой немчик с вытравленным на руке, повыше локтя, вензелем? Он сам объяснил мне, что это — имя его невесты. «Jetzt aber bist du, meine liebe, allerliebste Liebchen», — сказал он, смотря на меня масляными глазками, и вдобавок прочел стихи Гейне. И даже с гордостью объяснил мне, что Гейне — великий немецкий поэт, но что у них, у немцев, есть еще выше поэты, Гёте и Шиллер, и что только у гениального и великого немецкого народа могут рождаться такие поэты.